
С любовью и болью к тебе моя жизнь
Аврора Лейн

Аврора Лейн

С любовью и болью к тебе моя жизнь

«Автор»
2026

Лейн А.

С любовью и болью к тебе моя жизнь / А. Лейн — «Автор», 2026

Что значит брак ценой жизни? Это когда в доме больше нет тепла, а есть только холодный мороз клеток. Вы пятнадцать лет спите под одним одеялом, но между вами — две непроницаемые тишины.Всеволод — успешный гонщик, чья жизнь измеряется скоростью на трассе. Дома его всегда ждёт Лена: безупречный порядок и суп по одному рецепту. Но Лена знает леденящий секрет: её муж никогда не принадлежит ей полностью. Его взгляд упрямо уходит сквозь неё — туда, где в памяти давно живёт призрак другой женщины.Я не прошу тебя разлюбить её. Я прошу заметить, что я тоже здесь».прекрасного романа девушка в красном полностью дописана и выходит по главам приятного чтения и оставайтесь с нами вас ждет еще много различных романов

© Лейн А., 2026
© Автор, 2026

Аврора Лейн
С любовью и болью к тебе моя жизнь

Глава 1

Стол накрыт так, как я делаю это каждый вечер уже пятнадцать лет: две тарелки, два прибора, салфетки сложены треугольником, будто в этой геометрии есть какой-то смысл, который я давно перестала искать. Руки помнят порядок сами, без участия головы, — вилка слева, нож справа, стакан для воды чуть выше и правее тарелки. Я могла бы делать это с закрытыми глазами. Иногда мне кажется, что я и делаю.

На плите доходит суп, тот самый, с которого началась наша семейная жизнь, потому что в первый месяц брака я не умела готовить ничего сложнее, а Всеволод хвалил так искренне, что я готовила его снова и снова, пока не стало ясно: это уже не еда, это ритуал. Пар поднимается к вытяжке и оседает на стекле окна мелкими каплями, за которыми темнеет двор.

Издалека доносится звук мотора, тот характерный низкий гул, который я узнаю среди сотен других машин на нашей улице, — его машина, его манера тормозить перед воротами резко, будто он до последней секунды не уверен, стоит ли останавливаться здесь. Внутри у меня что-то теплеет и одновременно сжимается, два чувства так плотно прижаты друг к другу, что я давно перестала пытаться их разделить. Радость, что он дома. Тревога, что он дома не весь.

Дом наш устроен безупречно. Каждая вещь знает своё место: книги стоят по цвету корешков, потому что так удобнее находить нужную, полотенца сложены по размеру, ключи висят на крючке у двери ровно там, где им положено висеть. За пятнадцать лет я выучила этот дом так, как не выучила, кажется, ни одного человека, включая мужа. Здесь всё предсказуемо, всё на своих местах. Кроме одного. Кроме той части его мыслей, куда я не могу заглянуть и куда, я знаю, не заглянет никто, потому что там давно живёт не дом, а кто-то другой.

Я никогда не спрашивала почему он её так любит. Не потому что боялась ответа, — я его давно знаю, — а потому что понимала: их связь была глубже, чем всё, что мы построили вдвоём за эти годы. Есть любови, которые строят, а есть те, что выжигают, и не всегда та, что выжигает, уходит вместе с человеком, который её вызвал.

Хлопает дверца машины. Шаги по гравию, медленные, усталые, шаги человека, который только что провёл несколько часов на трассе, где думать нельзя ни о чём, кроме поворота, скорости, доли секунды между жизнью и бортиком. Я всегда любила эту его усталость после гонки, честную, физическую, без примеси того, другого. Именно в такие минуты он бывает почти полностью моим.

И вот, ещё до того как ключ поворачивается в замке, я уже готовлюсь. Не к встрече, а к тому, чтобы не заметить. Есть особый взгляд, который появляется у него иногда в первую секунду, когда он входит и не успевает меня увидеть, взгляд, обращённый не в комнату, а сквозь неё, мимо меня, мимо стола, мимо супа, который варится пятнадцать лет. Я научилась узнавать этот взгляд быстрее, чем он успевает его спрятать, и научилась в ту же секунду отводить глаза, как будто была занята чем-то важным. Салфеткой. Тарелкой. Своей собственной жизнью.

Я поправляю вилку, хотя она лежала правильно. Передвигаю стакан на сантиметр ближе к тарелке, хотя это ничего не меняет. Есть какая-то тихая вера в то, что если стол будет безупречен, если приборы лягут ровно, если свет будет падать правильно на скатерть, то и всё остальное, невидимое, тоже как-то выровняется, встанет на место, как ключи на крючке. Я знаю, что это не так. Знаю пятнадцать лет. И всё равно поправляю вилку.

Ключ скребёт в замке, дверь открывается, впуская запах бензина и вечернего холода. Я слышу, как он вешает куртку, как выдыхает — тот особый, длинный выдох человека, который переступил порог и на секунду позволил себе быть просто устал. Суп кипит. Свет над столом тёплый, жёлтый, обманчиво уютный.

Я поворачиваюсь к двери с тем лицом, которое ношу для него все эти годы, спокойным, любящим, ничего не подозревающим, и думаю о том, что моя главная работа в этом доме не готовка и не порядок на полках. Моя работа — не увидеть то, что я вижу лучше всех.

* * *

Дверь открывается шире, и он входит с тем усталым весом в плечах, который остаётся после трассы, будто скорость выкачивает из тела что-то важное, а взамен оставляет только тяжесть костей. Он подходит ко мне сзади, обнимает за плечи и целует в щёку, туда же, куда целовал пятнадцать лет назад, в ту же точку, что давно, наверное, помнит не он сам, а его губы, отдельно от него.

— Ты дома, — говорю я, хотя это не вопрос и даже не открытие, просто способ сказать: я заметила, я рада.

— Дома, — отвечает он, и в голосе у него та же усталость, что в плечах, и я слышу, как он вешает на спинку стула ключи, слышу металлический стук о дерево, привычный, домашний звук, которым измеряется наша жизнь не хуже часов.

— Как трасса сегодня?

— Мокрая. Резину меняли два раза. — Он садится, потирает шею. — Устал как собака.

— Суп готов, — говорю я, и это звучит нелепо после разговора о резине и мокрой трассе, но у нас так заведено: гонки и суп существуют в одном предложении, и никого это не смущает, потому что так было всегда.

Он благодарно кивает, и в этом кивке — что-то настоящее, простое, без примеси, то самое, что я люблю в нём больше всего: усталость человека, который просто хочет поесть и сесть в тепле. Я подхожу к плите, снимаю крышку, пар поднимается мне в лицо, обжигает щёки, и это приятно, потому что за этим паром я могу на секунду скрыть своё собственное лицо, свою собственную готовность смотреть на него так, будто ничего, кроме этого вечера, для меня не существует.

— Разлить? — спрашиваю, уже разливая.

— Да, спасибо.

Он снимает пиджак, вешает его на спинку соседнего стула, движение отработанное, экономное, без лишнего жеста, и садится за стол так, как садился тысячу раз до этого, ровно на то же место, лицом к окну. Я ставлю тарелку перед ним, ставлю свою напротив, и на секунду в комнате устанавливается та особая тишина, которая бывает у людей, проживших вместе полжизни: не пустая, а полная, тишина без необходимости её заполнять.

— А у тебя как день? — спрашивает он, зачерпывая ложкой.

— Обычно. Ходила на рынок, потом убиралась. — Я пожимаю плечами, потому что мой день и правда обычен, и в этой обычности есть что-то успокаивающее, как в его усталости после гонки. — Соседка снова жаловалась на своего кота.

Он усмехается, коротко, одними уголками рта, не поднимая головы от тарелки, и я вижу этот смех, маленький, настоящий, и на секунду мне становится тепло, по-настоящему тепло, той самой теплотой, которая копится годами и которую я боюсь назвать вслух, потому что вслух она может показаться слишком скромной для того, что я чувствую.

И вот в эту самую секунду, когда суп ещё дымится между нами, когда его ложка на середине пути от тарелки ко рту, я вижу это. Доля секунды, не больше. Взгляд его соскальзывает с меня, минует моё плечо и уходит куда-то за него, в темноту угла возле окна, туда, где ничего нет, только стена, штора и вечер, начавший густеть за стеклом. Взгляд останавливается там,

не задерживаясь долго, но и не пробегая мимо равнодушно, — взгляд человека, который на секунду вспомнил чьё-то лицо и не успел спрятать это вовремя.

Я говорю себе: это усталость. Просто усталость после трассы, после четырёх часов на скорости, где каждая мышца работает и глаза устают фокусироваться. Я говорю себе: это свет, тот жёлтый неровный свет от лампы над столом, который делает угол комнаты то темнее, то светлее, зависит от того, как падает тень от занавески. Я поправляю ложку в своей руке, будто именно ложка была причиной моего внимания, и делаю глоток супа, хотя не чувствую вкуса.

— Горячий, — говорю я, ни к кому особо не обращаясь, просто чтобы сказать что-то, заполнить секунду звуком.

— Хороший, — отвечает он, и снова смотрит на меня, обычно, ровно, будто не было того взгляда за плечо, будто там, в углу у окна, действительно ничего не происходило.

Но внутри меня уже поднимается тот самый холод, знакомый, будто старый сосед, который приходит без приглашения и садится рядом, не спрашивая, рад ли я его видеть. Не боль, нет, боль давно перестала быть болью, стёршись от частого употребления, как ступень на лестнице стирается от тысяч шагов. Это что-то тише, глубже, похожее на сквозняк, который приходит из-под двери, которую я даже не вижу, но всегда чувствую его, ровный, ледяной, будто в доме, где горит свет и варится суп, есть комната, куда меня никогда не пустят.

Я смотрю на него, на то, как он ест, наклонив голову, на седину у висков, которую я знаю лучше, чем свою собственную, и думаю о том, что вот сейчас, ровно в эту секунду, он полностью здесь, за этим столом, со мной. А через секунду может быть уже там, за плечом, в углу у окна, в темноте, куда я не заглядываю никогда, потому что знаю: там давно живёт не угол комнаты, а кто-то другой, кого я никогда не видела, но чьё присутствие чувствую острее, чем присутствие собственного мужа.

— Ещё супа? — спрашиваю я, и голос мой звучит спокойно, ровно, тем самым голосом, которым я говорю в этом доме уже пятнадцать лет.

— Давай, — говорит он, и подставляет тарелку, и улыбается мне, на этот раз по-настоящему, глазами, и я улыбаюсь в ответ, забирая тарелку, и на секунду верю, что это всё, что мне нужно.

* * *

Он приносит бутылку из шкафа, откупоривает без усилия, тем движением руки, что довелось видеть тысячу раз и которое я до сих пор люблю смотреть, потому что в нём есть что-то от него настоящего, не того, кто за плечом, а того, кто здесь, живой, с чуть надтреснутой кожей на костяшках после гаража.

— Машину нужно будет в понедельник забирать, — говорит он, наливая в оба бокала. — Сказали, тормозные колодки менять пора, я уже давно тяну.

— Опять тянешь, — говорю я, и в этом «опять» столько лет привычки, что оно звучит почти как нежность. — В субботу поедем на дачу или отложим?

— Поедем. Погоду обещали хорошую.

Он ставит бокал передо мной, и пальцы его на секунду задерживаются на моей руке, тепло, коротко, обычный жест, каким муж касается жены за столом, ничего особенного, и всё же я чувствую, как это тепло проходит по коже вверх, к плечу, к горлу, и мне хочется сказать себе: вот, смотри, вот доказательство, вот он, весь твой, руками своими доказывает.

— Дорогу перекопали опять у поворота, — продолжает он, — придётся в объезд.

— Через старую заправку?

— Ну да.

Он улыбается, отвечая, и улыбка у него хорошая, широкая, с той морщинкой у левого глаза, которая появляется только когда ему действительно весело, а не когда он делает вид. Я улыбаюсь ему в ответ, тянусь за вилкой, и на секунду мир сужается до этого стола, до жёлтого света, до запаха вина и вечера, и мне почти удаётся поверить, что больше ничего и не нужно.

И тут я вижу.

Улыбка не исчезает резко, не срывается, как случается в кино, где всё понятно с первого кадра. Она просто останавливается, будто кто-то нажал невидимую паузу на середине движения, и мышцы лица замирают в той форме, которую только что держали для радости, но сама радость уже ушла куда-то, и осталась только оболочка, форма без содержимого. Взгляд его скользит мимо меня, левее, туда, где штора, где стекло, где вечер за окном уже совсем сгустился в черноту, и в этой черноте, я знаю, нет ничего, кроме отражения комнаты, лампы, наших с ним силуэтов за столом.

Но он смотрит не на отражение.

Я не когда не спрашивала почему он ее так любит, я понимала что их связь была глубже чем мы все видели, глубже чем я могла бы понять, сидя здесь, пятнадцать лет спустя, с бокалом вина в руке и вилкой в другой. Я не спрашивала, и сейчас не спрашиваю, продолжаю резать хлеб, будто ничего не заметила, будто взгляд его всё ещё здесь, со мной, у стола, а не там, в черноте за стеклом, где, может быть, в эту секунду он снова слышит чей-то голос, произносящий его имя так, как я никогда не умела произносить.

— Значит, через заправку, — говорю я, и голос звучит ровно, спокойно, будто фраза важна сама по себе. — Я возьму термос, чай заварю.

— Хорошо, — отвечает он, и голос его тоже возвращается, чуть с запозданием, будто из другой комнаты, но возвращается, и он смотрит на меня снова, обычно, тепло, и я вижу, что он не заметил, что заметила я. Или заметил, но не хочет, чтобы я знала, что заметил.

Мой муж, мой дом, моя жизнь не любит меня, а любит ее, думаю я, накладывая себе ещё хлеба, хотя есть уже не хочется, и от этой мысли внутри не боль, а какая-то тихая, привычная усталость, будто я произношу молитву, которую знаю наизусть и от повторения которой давно перестала ждать ответа.

— Соль передай, — говорю я.

Он передаёт, задевает мои пальцы своими, и снова это тепло, снова эта иллюзия, что рука его принадлежит мне целиком, вся, без остатка. Я беру соль, солю суп, хотя он уже достаточно солёный, просто чтобы занять руки, чтобы не смотреть на него слишком долго, потому что если посмотрю, он увидит в моих глазах то, что я вижу в его, и тогда придётся называть вещи своими именами, а этого я не хочу.

Он здесь, за этим столом, руками своими наливает мне вино, голосом своим говорит про тормозные колодки и объезд через старую заправку, и весь этот вечер сложен из настоящих, живых деталей его присутствия. Но я знаю, знаю каждой клеточкой, привыкшей к этому знанию, как привыкают к боли в старом шраме, что весь он здесь никогда не бывает. Часть его всегда там, за плечом, за шторой, в темноте, куда я не заглядываю, потому что боюсь увидеть не пустоту, а лицо.

* * *

Ужин заканчивается тем, что заканчивается всегда: он собирает тарелки, я убираю хлеб обратно в хлебницу, и на секунду наши движения так слаженны, что можно подумать, будто мы одно целое, будто пятнадцать лет научили наши руки думать одинаково. Потом он выпрямляется, держит в руках свою пустую чашку, и идёт не на кухню, а к окну.

Он останавливается там, где раньше стоял стол с фикусом, который я убрала два года назад, потому что растение всё равно погибало от недостатка света, а он никогда не замечал ни фикуса, ни того, что его больше нет. Всеволод смотрит в темноту, и чашка в его руке медленно остывает, а он не пьёт, просто держит, как держат что-то, о существовании чего забыли, но выпустить из рук не могут.

Я стою в проёме двери, ведущей из кухни в гостиную, и не двигаюсь. Не потому что боюсь его напугать, не потому что не знаю, что сказать. Просто есть моменты, когда любое слово, любое движение будет ошибкой, будет вторжением в комнату, куда меня не звали, и я давно

научилась чувствовать эту границу так же ясно, как чувствую сквозняк из плохо закрытого окна.

За стеклом ничего нет, кроме фонаря на углу и мокрого асфальта, отражающего его жёлтый свет, но Всеволод смотрит именно туда, в эту темноту, будто там, за фонарём, за поворотом дороги, есть что-то, что видно только ему. Плечи его не напряжены, руки не сжаты, он не выглядит несчастным или взволнованным. Он выглядит так, будто просто вышел на минуту из комнаты, где мы вместе, и зашёл в другую, где меня нет.

Я видела этот взгляд столько раз, что могла бы, наверное, нарисовать его с закрытыми глазами: чуть опущенные веки, лёгкий наклон головы, будто он слушает что-то, что говорят тихо, почти шёпотом. Я видела этот взгляд на нашей свадьбе, когда фотограф просил его посмотреть на меня, а он на секунду посмотрел мимо, куда-то за моё плечо, и я тогда подумала, что это просто усталость, просто волнение дня. Я видела его за завтраком, когда он читал что-то в телефоне и вдруг замирал, не дочитав. Я видела его в машине, когда мы ехали куда-то вдвоём и он вдруг замолкал посреди фразы, глядя на дорогу так, будто дорога вела не туда, куда мы направлялись, а куда-то ещё.

За пятнадцать лет этот взгляд стал частью нашего дома так же, как трещина на потолке в спальне, которую мы всё собирались заделать и так и не заделали, потому что привыкли к ней, потому что она перестала быть трещиной и превратилась просто в узор, в деталь потолка, без которой потолок казался бы неполным. Я думаю, что если бы однажды Всеволод перестал так смотреть в темноту, я бы, наверное, испугалась сильнее, чем от того, что он смотрит.

Странно, но в этом взгляде нет ничего похожего на измену, ничего, что можно было бы предъявить, обвинить, назвать словами, которые произносят жёны, узнавшие о других женщинах. Он не звонит никому по ночам, не пишет писем, не хранит фотографий в тайных папках. Всё, что у него есть от неё, помещается где-то внутри, в месте, куда я никогда не имела доступа, и, кажется, никогда не получу. Он просто иногда уходит туда, в это место, оставляя меня здесь, снаружи, с остывающим чаем и невымытыми тарелками.

Чашка в его руке чуть сдвигается, он делает наконец глоток, машинальный, ненужный, просто чтобы занять рот действием. Свет фонаря дрожит на мокром асфальте, где-то далеко проезжает машина, и этот звук на секунду будто выдёргивает его обратно в комнату, но он не оборачивается, не ищет меня взглядом. Он просто стоит, чуть покачиваясь на пятках, как человек, ожидающий поезда, который никогда не приедет, но которого он всё равно продолжает ждать на этой платформе годами, десятилетиями, всю оставшуюся жизнь.

Я могла бы подойти. Могла бы обнять его со спины, положить голову между лопаток, спросить, о чём он думает, спросить прямо, без обхождений, без страха услышать ответ. Но я знаю, чем это закончится: он вздрогнет, обернётся, улыбнётся мне той улыбкой, которая означает «всё в порядке, просто задумался», и вечер снова свернётся в привычную форму, где всё сказано вслух неправильно, а правда живёт где-то между строк, в паузах, в том, как долго он смотрел в окно перед тем, как ответить.

Поэтому я не подхожу. Я тихо отступаю назад, в кухню, беру полотенце, начинаю вытирать тарелки, которые давно высохли сами, просто чтобы руки были заняты, просто чтобы звук воды и посуды заглушил тишину гостиной, где мой муж стоит один, наедине с тем, о чём никогда не расскажет мне, даже если я проживу с ним ещё пятнадцать лет, ещё тридцать, до самой смерти.

Вода течёт по фаянсу, и я слушаю, как за стеной, в гостиной, царит другая тишина, густая, непроницаемая, полная слов, которые никогда не будут произнесены вслух. Две тишины в одном доме, думаю я, вытирая уже сухую тарелку, и обе принадлежат нам обоим, только каждая на свой лад.

* * *

Он гасит свет в ванной, и я слышу, как половицы у порога знакомо вздыхают под его шагом, тем самым звуком, который за пятнадцать лет стал частью дома не меньше, чем сам дом. Мы не разговариваем, пока готовимся ко сну, но это молчание другое, не то, гостиное, густое, а обжитое, привычное, как старый халат, который не жмёт нигде. Он вешает полотенце на крючок, я расправляю одеяло со своей стороны, и в этих движениях столько лет совместности, что слова были бы лишними, почти нескромными.

Он ложится первым, как всегда, спиной ко мне, но через минуту, ещё не совсем уснувший, поворачивается и притягивает меня к себе, и рука его ложится мне на живот с той тяжестью, которая не бывает случайной или вынужденной. Это объятие настоящее. Я чувствую тепло его груди сквозь тонкую ткань рубашки, чувствую, как ровно, спокойно бьётся его сердце там, где моя лопатка касается его рёбер, и на секунду мне хочется поверить, что весь вечер, окно, чашка с остывшим чаем — просто мне показалось, просто усталость, просто женская мнительность, которой славятся жёны, слишком долго живущие с одним и тем же человеком.

— Замёрзла? — спрашивает он в темноту, не открывая глаз, и голос у него сонный, домашний.

— Нет, — говорю я, — тепло.

И это правда. Мне действительно тепло рядом с ним, тепло в самом простом, физическом смысле, том смысле, который не требует ни разгадок, ни объяснений. Его рука крепче обхватывает меня, дыхание постепенно замедляется, становится ровнее, глубже, и я понимаю, что он засыпает первым, как обычно, оставляя меня одну в темноте с открытыми глазами.

Я лежу и слушаю это дыхание, слежу за ним, как за метрономом, отсчитывающим наш общий возраст, наши общие годы, и думаю о том, что дом наш, если бы его можно было разрезать, показал бы два слоя тишины, вложенных один в другой, как в старом пироге, который пекла ещё моя мать. Моя тишина — снаружи, тёплая, домашняя, пахнет вымытой посудой и свежим бельём. Она держится терпением, тем особенным женским терпением, которому нас никто не учит специально, но которое вырастает в нас само, как седина, как морщины у глаз. Его тишина — внутри, дальше, в той комнате, куда мне никогда не найти дверь, и она пахнет, наверное, совсем по-другому, если у отсутствия вообще есть запах.

Я не знаю, какая из этих двух тишин тяжелее. Иногда мне кажется, что моя, потому что она требует постоянного усилия, постоянного удержания себя в форме любящей, терпеливой жены, которая не спрашивает лишнего и не смотрит слишком долго в глаза. А иногда мне кажется, что тяжелее его тишина, потому что в ней нет ни капли усилия, она просто есть, она сама себя носит, как вода несёт русло, и в этом, наверное, самая большая несправедливость: моё терпение стоит мне сил каждый день, а его отсутствие не стоит ему ничего.

Его рука на моём животе чуть дрожит, во сне мышцы иногда так делают, лёгкое подрагивание, ничего не значащее, но я замираю, будто это может что-то мне сказать. Мне хочется повернуться к нему, разбудить осторожным движением, спросить прямо в темноту: «Кто ты сейчас? С кем ты сейчас, пока обнимаешь меня?» Слова эти стоят у меня в горле, готовые, я чувствую их вес на языке, кисловатый привкус, с которым живёшь годами и который не проходит, сколько чая ни пей.

Но я не спрашиваю. Я знаю ответ, знаю его так же хорошо, как знаю расположение мебели в этой комнате в полной темноте, и мне не нужно подтверждение, чтобы бояться его меньше. Иногда правда, произнесённая вслух, становится тяжелее самой себя, обрастает плотью, костями, уже не выбросишь из головы, не притворишься, что не слышала. А так, невысказанная, она остаётся просто моей тенью, с которой я научилась жить, как живут с хронической болью, зная её расписание, её приступы, её затишья.

Я закрываю глаза, вслушиваясь в его дыхание, в тепло его руки, отдающееся мне под рёбрами, и говорю себе, как говорю каждую ночь уже который год: не сегодня. Не сегодня я спрошу. Пусть эта ночь будет ещё одной из тех, где я просто лежу рядом с ним, слушаю, как

он дышит, и притворяюсь, вместе с ним, для него, для себя, что это и есть счастье, вполне достаточное, чтобы прожить ещё один день, ещё одну ночь, ещё пятнадцать лет.

* * *

Сон приходит ко мне рывками, поверхностный, как всегда в последние годы, будто тело давно разучилось доверять темноте до конца. Поэтому я чувствую сразу, ещё раньше, чем просыпаюсь окончательно, как рука Всеволода дёргается рядом с моим плечом, коротко, будто он хочет что-то удержать и не может.

Я открываю глаза не сразу. Сначала слушаю. Его дыхание сбилось с обычного ровного ритма, стало прерывистым, с короткими вздохами, в которых слышится что-то похожее на просьбу. Я лежу неподвижно, спиной к нему, и в темноте различаю только контур одеяла, чуть шевелящийся от его беспокойства.

А потом он произносит имя.

Слова смазаны сном, губы у него, наверное, едва двигаются, звук выходит глухим, приглушённым подушкой, и я не могу разобрать ни одной буквы наверняка. Может быть, там два слога, может, три. Я напрягаю слух так, что в ушах начинает звенеть, но имя ускользает, растворяется прежде, чем я успеваю его удержать, как растворяется во рту снежинка.

Зато я узнаю интонацию.

Это невозможно спутать ни с чем, и в этом весь ужас: голос у него становится другим, мягче, ниже, в нём появляется просительная нотка, почти нежность, почти мольба, с которой он никогда, ни разу за пятнадцать лет, не обращался ко мне. Так не зовут жену, с которой прожил половину жизни. Так зовут кого-то, кого боятся потерять снова, кого уже потеряли однажды и до сих пор не могут в это поверить до конца.

Я лежу неподвижно и боюсь дышать, будто одно моё движение может разбудить его раньше времени, и тогда мне придётся смотреть ему в глаза, зная то, что я только что услышала, а он не будет знать, что я знаю. Или хуже — будет знать, что я слышала, и мы оба сделаем вид, что ничего не произошло, потому что так проще, потому что так мы жили всё это время.

Рука его снова дёргается, на этот раз сильнее, пальцы сжимаются в воздухе, будто ловят что-то ускользающее, и он произносит короткий звук, не слово уже, а просто выдох, полный тоски, от которого у меня внутри что-то немеет, медленно, послойно, как немеет отсидевшая нога, только это не нога, это где-то глубже, там, где раньше была надежда.

Я никогда не спрашивала, почему он любит её так, что не может отпустить даже во сне, спустя годы после того, как она ушла. Мне казалось, я понимаю: их связь была глубже, чем видели мы все, глубже, чем видела я сама, соглашаясь закрывать на это глаза каждый вечер, каждую ночь, каждое утро за пятнадцать лет совместной жизни. Но понимание не делает легче то, что происходит сейчас, в темноте нашей спальни, где я лежу рядом с мужчиной, которого называю своим мужем, и слушаю, как он шепчет имя другой женщины с такой нежностью, какой не находится для меня даже наяву.

Мой муж, мой дом, моя жизнь не любит меня. Он любит её. И, кажется, будет любить всегда, сколько бы лет ни прошло, сколько бы ночей я ни лежала так, замерев, боясь дышать, чтобы не спугнуть эту его тайную, запретную близость с призраком, которого нет рядом, но который всё равно сильнее меня.

Он затихает так же внезапно, как начал, дыхание выравнивается, рука опускается, ложится безвольно на одеяло между нами, и в комнате снова становится тихо, только тикают часы на тумбочке, отсчитывая минуты этой обычной, ничем не примечательной ночи. Обычной для него. Не для меня.

Я лежу и смотрю в темноту рядом с его спящим лицом, различая в слабом свете уличного фонаря, пробивающемся сквозь занавеску, спокойные, разгладившиеся черты, будто он уже забыл, что произошло секунду назад, будто это была не его тоска, а моя, будто это мне приснилось, а не ему. И я понимаю с тем особым, тихим отчаянием, которое давно перестало

быть острым, а стало просто фоном, привычным гулом в груди, что эта ночь не первая такая. Были другие, раньше, месяцы, может, годы назад, я просто не всегда просыпалась вовремя, не всегда слышала, а иногда, наверное, слышала и забывала утром, потому что так проще было жить дальше.

И эта ночь не последняя. Будут ещё, и ещё, и я снова буду лежать вот так, неподвижно, боясь пошевелиться, слушая имя, которое никогда не смогу разобрать до конца, но которое всегда буду узнавать по одному только звучанию его голоса, по этой нежности, не предназначенной мне.

Я закрываю глаза, но сон уже не приходит. Я лежу так до самого рассвета, слушая его ровное дыхание, чувствуя тепло его тела рядом с собой и холод где-то внутри себя, и думаю, что завтра утром он проснётся, поцелует меня в висок, как делает это каждый день, и ни один из нас не скажет ни слова о том, что случилось этой ночью. Потому что мы оба давно научились жить в доме с двумя тишинами, и, кажется, ни один из нас уже не знает, как из него выйти.